

---

---

Виталий АШИРОВ

# ОСВОБОЖДЕННОЕ СЛОВО

## Рассказ

Виктор не любил питаться. Он с давних пор относился к этому свойству человеческой природы как к величайшему проклятию. Он испытывал отвращение. Он морщился. Он скучал за тарелкой. Но был вынужден поглощать пищу. Телевизор служил волшебной сладкой пилюлей, помогающей вытерпеть неприятные минуты.

К нему-то и приблизился Виктор с тремя вареными картошками в миске. Ящик сперва загудел, потом чихнул и озарился голубым сиянием. Опустившись на корточки, юноша истерично зашел пульт, дабы найти нормальный канал, и, продираясь сквозь навязчивое бубнение про национально-национальные национальности наций, сломанные ломы в общежитии на Кутузовском проспекте и падеж крупного рогатого нетрезвого скота с высоты двенадцатого этажа, услышал чрезвычайно лестное словечко «графоман», тут же сделал громче и зажевал, быстро двигая кадыком.

Привлекательная дикторша с длинными распущенными волосами цвета болотной воды начинала издали, и, несмотря на то, что финал был заранее известен, зрители желали снова и снова слушать эту историю, как бы переживая ее заново, — историю нового счастливого общества, в экстазе говорила Татьяна, невозможно представить себе без того, чтобы перед глазами не поплыли жестокие картины нашей далекой старины: крепостное право, власть, сосредоточенная в руках кучки привилегированных негодяев, стон и кровь несчастных рабов, лишенных самого главного — права голоса и письменной речи. По сути, отняв у народа письмо, наглое дворянство гарантировало себе долговременную власть. И чтобы простой человек не смог каким-либо случайным образом вернуть волю, освободиться от гнета безумия, от гнид самодержавия, они обставили элементарнейший процесс письма миллионом идиотских правил — запомнить их невозможно человеку разумному — законами, церемониями, ритуальной символикой, институтами «учебы», «вокабуляра», «нормативной стилистики».

Некий барон Целухин, самый наглый и беспардонный из всей кровососущей элиты, не по-детски распоясавшийся типок, разработал лжетеорию трех стилей, где художественная речь, как труп, разлагалась на три стили: «высокий», на нем разговаривали сам Ц. и его ближайший круг, средний — косноязычное письмо мелких помещиков — и низкий — язык образованной прислуги. Слово крестьянина, естественно, в теорию не входило, поскольку автор осознанно не хотел, чтобы крестьяне разговаривали и тем более что-то такое непонятное писали, он предпочитал их игнорировать и просто использовать как дешевых животных или механические приспособления для тяжелой работы. «Зачем выделять в отдельную группу грубый язык мебели или столовых ложек?» — примерно так думал идиот, отрицая саму мысль о том, что крестьяне тоже

---

Виталий Дамирович Аширов родился в 1982 году. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Публиковался в журналах «Нева», «Юность», «Здесь», «Вещь», интернет-ресурсах «Полутона», «Топос» и др. Автор книги «Скорбящий киборг. Диаманда Галас за пределами ультрамодернизма» (Екатеринбург, 2019). Живет в Перми.

люди, в них тоже светится огонь творца, они тоже чувствуют, страдают, понимают и умирают и у них столько на душе накопело, что их гипотетическая художественная речь сравнится с речью среды Ц., как океанская волна с тухлой струйкой из ржавого рукомойника. Гниды это подсознательно ощущали и старались правдами и неправдами прятать возможность художественной речи от народа. Говорили по-французски и по-английски, чтобы простолюдин не подслушал невзначай сахарные речи господ и не узнал о том, что в мире есть книги.

Отделение и обособление (хотя это одно и то же) стиля от народа сопровождалось беспримерными казнями, кровавым ливнем, миллионами убитых просто так. Но ведь народ не дурак. Он может терпеть год, десять лет, пятьдесят, но целый век терпеть не будет, кулак его сожмется, набухнет в душе черный ком ненависти. Просочится тем или иным способом в народ тривиальная идея книги — и начнется справедливая месть за умалчивание, за оболванивание, за беспредел.

Вы знаете из курса российской истории, что приблизительно так и произошло — с определенными погрешностями на ранних этапах. Народ и прогрессивные представители дворянства, не разобравшись, взялись за экономическое иго, смели с лица земли крепостное право и положили себе разные полезные свободы, забыв самую главную — свободу писать как угодно, без правил и ограничений. Она была настолько хитро и глубоко репрессирована, что прошло больше двухсот лет, прежде чем люди стали понимать, что вообще происходит в реальности и почему они испытывают неловкость и стеснение, оказываясь перед классическими образцами «высокой» словесности.

Так называемые классики девятнадцатого века вольно или невольно работали на благо чудовишной машины подавления тихого голоса голодных и нищих, голоса странных и непонятных, голоса аутистов и сумасшедших, отчужденного голоса большинства обыкновенных людей — и все ради сомнительного наслаждения кучки высокомерных богатеньких идиотов, о чем уважаемые телезрители, естественно, знают из школьного курса литературы, я лишь напомню, что эти сведения базируются на фундаментальном исследовании историка Антона Сергиенко. Он же сообщает нам: «После того как крестьянство и пролетариат уничтожили многолетнее царское иго, должна была установиться благодатная и счастливая жизнь, однако, напротив, в стране моментально утвердился преступный тоталитарный режим, и кровавое колесо репрессий перемололо миллионы ни в чем не повинных советских граждан, у которых по-прежнему не было права на художественную речь». Да, ряд значительных послаблений все же возник, и тут явная заслуга переворота. Простые люди добились разрешения писать литературные тексты и даже сомнительного права относить оные в редакции газет и журналов, где эти тексты брезгливо просматривали краем глаз проклятые внуки и правнуки разгромленного в пух и прах дворянства, а также их дегенеративные приспешники и швыряли в мусорные корзины. Большевики переняли нормы классической прозы и даже ужесточили, поставив барьеры в виде бюрократии и головотяпства на пути публикации. Свободная фантазия была заменена на идеологический расчет, писательство стало престижной, высокооплачиваемой «работой» — но только для верхушки функционеров. Тексты сделались плотной субстанцией — неудачное, невпопад написанное слово могло решить судьбу человека. У букв словно выросли зубы и когти — правильно сработанной статьей можно было в буквальном смысле убить не один десяток невинных людей. И на подхвате у мизантропической идеологии всегда находились ее верные кровожадные псы, наследство гнилой дворянской системы, — стиль, мысль, грамотность. Три каменных рифа, о которые неминуемо разбивается любовь и человечность. За ними ничего нет, кроме ненависти, тоски, скуки, презрения, стремления унижить и убить, садистского желания контролировать и порыва расщепить на атомы все, что невозможно проконтролировать.

И очевидно, подлая советская республика боялась подлинного народного слова и заменяла его суррогатами, призванными имитировать литературу там, где зияет кровавая яма. Наивные функционеры с промытыми мозгами чистосердечно верили, что занимаются благим делом, «тщательно вычесывали стилистических блошек» из не слишком «начитанных» текстов (понимай — рабских), живого человека втапывали в грязь за малозаметную палочку, поставленную не в том месте на листе бумаги, презрительно отказывали тексту без правильного идеологического содержания, тем самым выращивая и лелея армию так называемых тружеников пера, «талантливых» (то есть тех, кто отвечает условиям игры), «образованных», «ответственных», «эрудированных» писателей — покорных винтиков системы.

Искусственно созданные бессмысленные слова типа «одаренный», «гениальный» были чем-то вроде корма, бросаемого дрессировщиком зверю за удачно выполненный трюк. Это нам с вами ясно, что пухлые собрания сочинений Достоевского несколько не «талантливей» стихотворения одинокой бабушки из глубинки — про крепкую дружбу жуков и гусей, а самая псевдокрасивая фраза Пруста равнозначна любому предложению из сочинения рязанского двоечника на тему «Как я провел лето». Но тогда людей было легко запутать, «железный занавес» не давал проникнуть правде в страну мерзавцев и негодяев, и гуманитарной интеллигенции приходилось покорно соглашаться с навешанными на них ярлыками.

К счастью, западные государства быстро уразумели, что в СССР творится несусветный бардак, что истинная красная власть кроется не в пушках и танках, а в учебниках русского языка, и стали подрывать нездоровые основы социалистической идеологии, используя изошренные способы — вольнодумные радиопередачи и шпионов с томиками Кафки и Джойса в восьмках. Они нашептывали на уши несовершеннолетним гражданам (у кого не заостенел мозг, не атрофировалась логика), что есть писатели почище Пушкина и Толстого, есть мысли глубже мыслей о Родине, что всего важнее финансовое благосостояние, а романтические бредни о баснословных стройках — чужь, пыль, галиматья, и, вручив томики, ретировались.

Страна в лице лучших представителей начинала пробуждаться, понимать, что можно жить, не молясь на Пушкина, не поклоняясь Толстому и даже, о ужас, не ставя запятых. Эти светлые люди способствовали чудесному августовскому перевороту. Настоящее прозрение еще не наступило, но верховенство правильного языка и правильных книг неуклонно сходило на нет. После падения «железного занавеса» обновленная Россия переживала лучший период за всю свою историю. Бесцеремонная, великая свобода захватила всех и каждого — свобода думать, писать и самовыражаться наобум. Однако невидимые оковы зловеще побрякивали, недобитые подонки с промытыми мозгами (или нечистыми целями) продолжали насиловать разум детей, впахивая в школьную программу обязательное изучение так называемых «классиков».

Культурная ситуация резко поляризовалась и представляла собой картину в высшей степени комическую, не то апокалиптическую»: одновременно существовали (бойко продолжала Т. вязкую стилистику ученого) поборники старой идеологии и новые незашоренные люди. Первые образовали круг посвященных, куда не было доступа «профанам», писали безукоризненно и с воплем ужаса рвали на себе волосы, если видели в книге грамматическую ошибку. Выродки осознали свою немногочисленность в грядущем обществе и заняли руководящие места в журналах, газетах, политических партиях, надеясь таким способом усугубить закабаление человека и в перспективе вернуть прежние тоталитарные времена. Вторые — прогрессивные, авангардные, свободные от предрассудков — флексили и хайпили, жили одним днем, ни о чем не думали, писали для души и просто так и, получая постоянные отказы в издательствах и журналах, не отчаивались, потому что были убеждены: наступит светлый день, и скромное творчество их напечатает, а злобные реакционные мракобесы навсегда исчезнут с лица земли.

Бедный народ, оглуленный веками рабства, признавал первых и посмеивался над вторыми. Бесподобная Американизация и потрясающий Свободный рынок изо всех сил расшатывали эстетические идеалы, но «кретинизм классического толка» плотно въелся в массовое подсознание и добраться до него не получалось. Агрессия и насмешки сопровождали тех, кто взывал к здравому смыслу и пробовал открыть глаза гражданам. Писакам приходилось эмигрировать в сказочную, невероятную Америку.

Грянула середина двадцать первого века, и ничего не изменилось. Эстеты в открытую праздновали победу, сочиняли головоломные правила, проводили годовщины «великих русских писателей», ставили там и сям бронзовые памятники кровавым чудовищам языка — Гоголю, Бунину, Чехову, вырастили целую когорту молодых премиальных авторов, которые писали гладко и с оглядкой на мэтров. Гады ждали удобного момента, дабы подкрутить гайки в экономике и политике. Как вдруг тихой сапой в американском филологическом журнале «Jouissance» вышла статья никому не известного профессора МГУ Бориса Антонченко-Сергеенко. Она называлась «Гамбургские щетки». Автор с первых строк яростно набрасывался на приспешников стиля, и клеймил, и журил, и ерничал, и логически безупречно доказывал фундаментальную несостоятельность общепринятой иерархии литературных авторитетов, и настаивал на исторически обоснованной смене парадигмы. Он заранее привел возможные доводы защитников вертикальной структуры и не оставил от них мокрого места. Инновационная горизонтальная система, представленная в его работе, описывалась только тезисно, но и этого было достаточно, чтобы убедить тех, кто находился в сомнениях, пробудить тех, кто был погружен в спячку неведения, отрезвить тех, кто еще верил в позитивные стороны старого порядка.

Первое время после статьи люди блуждали, как сомнамбулы, по рукам городских улиц, не понимая, что происходит и почему все в одночасье изменилось. Графоман Антон Сергейчук красноречиво описал свое тогдашнее мироощущение: «Из глубокой бездны пришел огромный великан и перевернул земную ось». Напуганные до полусмерти официальные литераторы немедленно откликнулись рядом истеричных опровержений. Аргументы звучали неубедительно, и один автор, умнейший, даже открылся в конце статейки, что понимает правоту Б. А., но признать ее не в силах, — реальность становится страшной, как в детстве, когда ты за руку с отцом бредешь по рынку среди разномастного хлама и ростом меньше всей этой копошащейся массы, над головой нависают прилавки, а пестрые юбки и джинсы образуют хаотические сочетания, собаки и те больше тебя, — плешивый вожак стаи касается жестким хвостом твоей щеки; запрокидываешь голову, чтобы увидеть небо, а видишь черный кусок крыши и бесконечный столб с серебристым отливом, и вдруг над тобой склоняется смуглое лицо цыганки — как солнечное затмение.

После вялой атаки таланты перешли в глухую оборону, а потом и вовсе замолчали, потому что мир взорвался от внезапного восторга и больше не мог вернуться к старому состоянию. Идею Б. А. подхватили в сотнях статей, монографий, телепередач. Особенную ярость вызывали «великие писатели» Серебряного века. Низложенных гениев стали называть «гамбургскими петухами». Тысячестраничное исследование преемника Б. А. носило эпатажный заголовок «Мандельштам — гамбургский петух (тюремные годы Осипа Эмильевича)». Автор убедительно доказал, что талант О. Э. подпитывался безнравственными деяниями. И, по сути, являлся словесным аналогом чистого зла.

Все как-то сразу поняли нездоровый, аморальный и мизантропический характер самой идеи «таланта», заметили ее плоды в виде миллионов оплеванных или уничтоженных жизней и забили тревогу. Хорошо писать сделалось неприкрытым, неприличным. Мастера стиля стали нерукопожатными. Кто-то из бывших сам отказался от глад-

кописи и принялся городить околесицу, на других воздействовали административно. В конце концов (гады не унимались), дабы исключить волнение и бурление, правительство внесло поправки в Конституцию. Теперь там черным по белому значилось: «Гражданин России не имеет права производить качественную художественную литературу (уровень качества определяется советом редколлегий)».

Желая выслужиться и отвести от себя малейшее подозрение в нелояльности режиму, самыми яростными гонителями стали бывшие таланты. И чем даровитее был писатель, тем сильнее выкаблучивался и выкобенивался и тем громче были его проклятия неугомонным собратьям по перу.

Широко распространялось и повсеместно одобрялось доноительство. Тот, кто заметил хороший текст, интеллигентного, вдумчивого автора, свежие идеи, незатертые художественные приемы, обязался сообщить в компетентные органы, в противном случае его могли посадить за укрывательство.

Действующих талантов-диссидентов занесли в специальную черную книгу ФСБ — им объявлялся категорический запрет писать, выступать, пропагандировать. И чем сильнее был талант — тем строже за ним приглядывали.

Чтобы литераторы не распространяли заразу, им настрого запретили выезжать из страны.

Произошли кардинальные перемены в руководстве союзов писателей. Для вступления туда отныне не требовались взносы, публикации, одобрения мэтров — хватало неумного стремления и хотя бы пары строк, тиснутых в школьной тетрадке.

Издательский бизнес процветал. Тысячи мелких издательств образовались после распада монополистов, специализирующихся на качественной литературе. За скромные деньги каждый водопроводчик мог издать что угодно (цензуру в любом виде временно отменили). Периодически проводились халявные раздачи современных книг. И щедрые рекламные акции: «Купи у нас две книги — и мы бесплатно издадим твою!»

Общество лихорадочно перестраивалось под новые реалии.

Классическую прозу запретили держать дома, отныне она использовалась исключительно для учебных нужд.

Ежели ребенок слишком хорошо писал сочинения, его прорабатывали на школьных собраниях, пугали неудами, в запущенных случаях хулигана оставляли на второй год. «Нельзя поощрять у детей литературный вкус и развивать художественный стиль!» — висели плакаты в учебных заведениях. Из уст в уста передавалась легенда о мальчишке, сошедшем с ума от того, что старался писать правильно и красиво. Бедный ребенок постоянно перенапрягался и не выдержал. Уроки правописания отменили. Вместо них ввели занятия литерной индивидуальности. От первоклассников требовалось как можно оригинальнее выводить буквы. Чернильная грязь и всяческие отклонения от учебных норм приветствовались. Учебники и книги демонстрировались в качестве отрицательного примера — так не нужно писать. Темы итоговых сочинений по литературе были, например, такими: «Почему классика — дрянь?», «За что я ненавижу литературу?», «Почему я пишу лучше Набокова, Бродского и прочих распиаренных дегенератов?». Творческий порыв поощрялся, главное было — не создать яркую метафору, не произвести глубокий смысловой анализ. На первый раз проступок прощали (ведь и крыса, беспорядочно бегая по клавишам пишущей машинки, может когда-нибудь набрать интересное сравнение), потом принимали строгие меры воспитательного характера. По субботам проводились так называемые «минутки классики» — ученик зачитывает выхваченные наугад страницы из Достоевского, Бунина, и т. п., бубнит, гнусавит и всем видом показывает: ему откровенно скучно. Язык заплетается в стилистических нагромождениях, но через силу ребенок продолжает трюндеть. Неожиданно резко прерывает выступление и падает замертво, раскинув руки. Его кладут в гроб

и оплакивают, затем мнимого мертвеца уносят, и школьники с веселым смехом обрушиваются на книгу, ставшую причиной смерти товарища, рвут, швыряют, топчут.

К тем, кто оступился и сошел с верного пути, поначалу относились с пониманием, как к трудным подросткам или женщинам, пережившим сексуальное насилие. Пишущих разными способами отвлекали от создания текстов — устраивали перед окнами нарушителя шумовые эффекты: запускали фейерверки, били в барабаны, кричали, свистели; звонили в дверь и убегали. Если он отваживался принести рукопись в издательство, ему устраивали прилюдную выволочку, в буквальном смысле. На городской площади с преступника снимали штаны и пороли его, зачитывая в мегафон даровитую рукопись под смех и улюлюканье народа.

Специально для талантов Министерство культуры разработало официальный сборник «Государственных правил правильной письменной речи» — десятки тысяч бессмысленных и бесполезных препон, заголовков и закавычек, способных заставить завыть от тоски кого угодно, только не талантов. Те привыкли к директивам и с воодушевлением брались за штудирование и заучивание новых законов хорошего письма (и лишь спустя недели, а то и месяцы начинали осознавать, что сборник носит иронический характер).

Для того чтобы размыть границы между талантом и бездарностью, рифмованные стихи запретили под страхом уголовного наказания, вплоть до смертной казни. Верлибры всецело поддерживались и поощрялись. Они наряду с визуальной и тактильной поэзией пропагандировались среди молодежи. Под них выделялись гранты. Возникали престижные премии: «Без рифмы», «Освобожденное слово», «Ноп напрягаясь».

Возник огромный спрос на документальную литературу — в этой области проявить художественность было сложно, любой человеческий материал имел право на существование. Дневниковые записи, истории болезни, выписки из налоговой — все принималось на ура и зачитывалось до дыр. Слово фикшн сделалось аналогом грубого матерного ругательства — в приличных домах его старались не употреблять.

Сюжет и композиция подверглись остракизму. Публицист Антон Сергеев, автор монографий о своей бабушке, о пакете из-под молока и гностицизме канавы, подытожил общее мнение: «С. и К. — не что иное, как способы манипулирования сознанием. Зомбировать читателя теперь не получится. Он слишком умен, он сам принимает активное участие в игре».

Ирония порицалась как неуместный прием в нонфикшне (и в прозе вообще), нечто отжившее, архаичное, странный реликт диких времен таланта. «Это идиот Андрей Белый мог позволить себе иронизировать, поскольку ирония — одна из главнейших констант хорошего слога, а мы должны, обязаны и будем писать искренне, с душой, передавая сырые, необработанные феномены реальности. Оглянитесь, друзья! Пошарьте под столом. В природе нет никакой иронии. Ей не смешно. Кроме того, не стоит забывать, что хозяева всегда смеются над рабами», — убеждал читателей Сергей Андрейкин, глянцевого «критика».

К слову, идею так называемой журнальной критики отменили в первые годы свободы. Вместо системы литературных рецензий, обзоров и экспертиз внедрили фестивальную форму реакции. На главных площадях города раз в месяц проходили карнавалы критики. Случайным образом из толпы выбирались несколько человек, которые до следующего карнавала объявлялись ведущими критиками города. Они сочиняли короткие бессмысленные рецензии на актуальные произведения и подписывались именами знаковых критиков прошлого. Новые невероятные Мелинский, Пилкин, Жероная, Каблян, Буденков книг не читали, поэтому могли создать триста рецензий за ночь. Одни восхищались «свежими, точно первый день творенья», твореньями, дру-

гие — по сценарию — громили и уничтожали «бездарную погань», третьи писали амбивалентные статьи: хвалили и ругали за одно и то же. Четвертые уходили далеко в сторону и заканчивали обзор, например, подробным пересказом институтского учебника органической химии.

За критиками в массовом сознании закрепился образ унылых никчемных паразитов, достойных исключительно оплевания. Так, собственно, и происходила церемония «сдачи поста». Графоманы поочередно плевали в авторов рецензий, а потом уже лишённые званий и ярлыков граждане кружились в хороводе.

С годами писательская активность неутомимых талантов вызывала у народа все больше отторжения, тревоги и настороженности. Несмотря на то, что количество идиотов значительно сократилось, несмотря на то, что перед ними высились законодательные и социальные препоны в распространении своих текстов, они как-то умудрялись продолжать творческую деятельность и даже, по слухам, отдельные индивиды издавались в Таиланде и прочих отсталых странах — там до сих пор котировался талант. «Нельзя позволять тварям порочить Родину!», «Что делать?! Я вас спрашиваю!» — кричали с трибун депутаты. «Сжечь заживо!», «Вбить гвозди в глазницы!» — раздавались разумные советы из русской глубинки. Но крайние меры были признаны отвратительными. «Мы живем в цивилизованном обществе. Недопустимо калечить и тем более убивать писателей, — заявил однажды молодой депутат Андрей Сергейков, — есть методы интереснее. А что если, — он понизил голос, — что если мы ублюдков посадим в клетки, в зоопарк. И детям будет на что посмотреть. И третий мир не содрогнется от нашего якобы бесчинства. И будущим поколениям останется в назидание».

Идею признали гениальной и потрясающей. За считанные дни обустроили клетки для проживания в них людей. Талантов хватало на улице, вытаскивали из уютных постелей, вырывали из рабочих офисов и волокли в центр города, где их ждали стальные клетки (гиен, слонов и обезьян безболезненно умерщвили). Из удобств только матрац и ведро для испражнений. Увлекательные экскурсии открылись в тот же день. Сначала животные слабыми голосами просили о помощи, угрожали и жаловались. Над ними смеялись. Через полтора года они потеряли всякий человеческий облик: половина сошла с ума, утратила рассудок, речь, личность и превратилась в натуральных зверей, вторая кое-как держалась, но чувствовалось — распад близок.

Оравами валили непоседливые школьники и степенные семейные люди. Отцы улыбались и понимающе подмигивали сидельцам. Дамы брезгливо отворачивались, зажимая носы от нестерпимой вони. Кормить гениев было запрещено, однако дети тайком просовывали через прутья хлебные мякиши, и проголодавшиеся гориллы пера и макаки печатных машинок давились, но ели.

Западное общество было потрясено примером нашего скромного города и переняло замечательный способ укрощения строптивых талантов. Там и сям возникали огромные зоопарки, цирки и, наконец, кунсткамеры. Таланты продолжали волновать фантазию, пусть и немного в ином качестве. Самых умных и покорных зверей пытались дрессировать. Увы, они плохо поддавались обучению, лишь единицы могли выполнить простейшие трюки, типа стойки на двух лапах и лая по команде.

Выбеленные кости издохших животных выставлялись в крупнейших музеях и галереях.

Дабы демотивировать будущих писак, по городу висели красочные плакаты с гигантской надписью: «Талантлив? Добро пожаловать!» И на заднем фоне изображение грязной клетки с приоткрытой дверью.

А мы, дорогие друзья, переходим к самому главному...

Виктор поморщился, выключил телевизор — слушать про замечательных спонсоров не хотелось — и принялся в полной тишине чавкать последней картошкой.